Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена
Петербургский институт иудаики

# ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

## Т. 11

*Выходит 4 раза в год*

Санкт-Петербург
2015

*Летняя школа по русской литературе. 2015. Т. 11. № 1. С. 63-73.*

**Анна Полякова**
*(Санкт-Петербург)*

# РОМАН А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО «ВАДИМОВ» И СИСТЕМА ПОЭТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

В статье рассматривается неоконченный роман А. А. Бестужева-Марлинского «Вадимов» в контексте литературной традиции, презентующей события 1812 г. На материале лирических текстов выделяется несколько дискурсов, один из которых лежит в основе официальной мифологии Отечественной войны. Обращение к той или иной традиции объясняется авторскими представлениями о поэтике жанра романа.

**Ключевые слова:** А. А. Бестужев-Марлинский, «Вадимов», роман, миф, Отечественная война 1812 г., агитационная лирика.

This article reports about the unfinished novel of A.A. Bestuzhev-Marlinsky «Vadimov» in the context of the literary tradition, presenting the events of 1812. On the material of lyrical texts several discourses are released, one of them is the basis of the official mythology of the Patriotic War of 1812. The selecting one or the other tradition is explained by the author's views on the poetics of the novel genre.

**Key words:** A. A. Bestuzhev-Marlinsky, Vadimov, novel, myth, the Patriotic War of 1812, agitational lyrics.

Осада турецкого Ахалциха 1828 г. и события Отечественной войны – важный исторический фон для развития сюжета незаконченного романа А. А. Бестужева-Марлинского «Вадимов» (1833–1834)[1]. К опыту военной кампании 1812–1815 гг. обращается и центральный герой главы

[1] Проблема, является ли очерк «Выстрел» с подзаголовком «Золото и свинец» одной из глав романа, не всегда решалась однозначно. Так, А. Писарева, собравшая в 1886 г. в одну тетрадь бестужевские рукописи 1830–1837 гг. (см. [1]), не включила этот текст в состав черновиков «Вадимова». Но тот факт, что и в главе «Осада», и в «Выстреле» героями сопоставляются битва русских с турками и война 1812 г., позволяет считать очерк частью романа.

«Осада», подполковник Винградов. Одно из его многочисленных воспоминаний, которые «приплетались <…> ко всему и ко всем то для сравнения, то для противоречия» [4, с. 324], прерывается такой гневной репликой:

«Я бесился, читая в некоторых романах и журналах описания Бородинской ночи: слушать их, как у нас в лагере был чуть ли не пир горой: и песни да шутки, и смехи да потехи!! Писали это или не русские, или не очевидцы, или какие-нибудь дутики, лишенные всякой наблюдательности, люди, которые даже из крови умеют делать мыльные пузыри, надутые пошлыми газетными восклицаниями. Неправда ж, горькая неправда, будто мы тогда радовались» [4, с. 320].

Симптоматично, что эти бивуачные воспоминания выглядят как полемика с некой «ложной» и в то же время «официальной» версией изображения событий 1812 г. Возможный прозаический источник этого дискурса обнаруживается достаточно легко – это роман М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году», где бивуачные пирушки, сопровождаемые ура-патриотическими возгласами героев, выступают непременным атрибутом военной кампании[1]. Зная о снисходительном отношении Бестужева к Загоскину[2], мы могли

---

[1] См., например, следующий пассаж: «Ну-ка, господа, за здравие царя и на гибель французам! Гей, малый! Шампанского! – Нет, братец, – перервал Буркин, – давай наливки: мы не хотим ничего французского. – В том-то и дело, любезный! – возразил хозяин. – Выпьем сегодня все до капли, и чтоб к завтрему в моем доме духу не осталось французского. – Нет, Николай Степанович, пей кто хочет, а я не стану – душа не примет. Веришь ли богу, мне все французское так опротивело, что и слышать-то о нем не хочется. Разбойники!.. Дворецкой вошел с подносом, уставленным бокалами. – Налей ему, Парфен! – закричал хозяин. – Добро, выпей, братец, в последний раз… – Эх, любезный!.. Ну, ну, так и быть; один бокал куда ни шел. Да здравствует русской царь! Ура!.. Проклятый напиток; хуже нашего кваса… За здравие русского войска!.. Подлей-ка, брат, еще… Ура! – Да убирайся к черту с рюмками! – сказал хозяин. – Подавай стаканы: скорей все выпьем! – И то правда! – подхватил Буркин, – пить, так пить разом, а то это скверное питье в горле засядет. Подавай стаканы!..» [12, с. 386–387]

[2] См. письмо к Н. А. Полевому от 18 мая 1833 г.: «Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Булгарина; но и эта высь по плечу ребенку» [4, с. 525].

бы ограничиться отсылкой к этому тексту, если бы не одно обстоятельство.

Роман «Вадимов» не единственное произведение писателя, посвященное событиям Отечественной войны: мы имеем в виду оба «Вечера на бивуаке» (1823) и более поздний рассказ «Латник. Рассказ партизанского офицера» (1832). Если в самых общих чертах охарактеризовать поэтику указанных рассказов, безусловно, нельзя не отметить очевидные стилистические сдвиги, накапливающиеся от ранней к более поздней прозе писателя. Если в композиционных рамках ранних «Вечеров...» никакие внешние обстоятельства не омрачают веселья травящих байки офицеров, то в более позднем тексте повествование предваряет по-настоящему драматичное описание замерзшего французского отряда. Как отметила Ф. З. Канунова, говоря об эволюции прозы Бестужева-Марлинского, «даже самый беглый взгляд на повести 30-х годов говорит о значительной перемене, произошедшей с писателем. Его повести сейчас окрашены в трагические тона, они драматичны, несмотря на замысловатую, подчас вычурную форму рассказа» [14, с. 101]. Но тем ценнее оказывается то, что и в «Вечерах на бивуаке», и в «Латнике» есть эпизоды, где найдем примеры тех самых бивуачных «потех» и «пира горой», так категорично осужденных героем «Вадимова». Драматичный рассказ Лидина и бивуачный анекдот князя Ольского про ночное пиршество с французами рассказаны дружественному кружку пьющих глинтвейн офицеров. Полуфантастическую же легенду польского дворецкого предваряет комический эпизод с взятым в плен французским тамбурмажором самого жалкого вида, который был принят недалеким аудитором Кравченко и нетрезвым драгунами за самого Наполеона.

Выходит, что бивуачные рассказы писателя, в которых присутствует образ веселого дружеского пира, оказываются ближе загоскинскому «Рославлеву...», чем роману самого Бестужева-Марлинского. Описание же вечера перед Бородинским сражением, которое дал Винградов[1], по обще-

---

[1] «С нами был Кутузов, напротив нас был Наполеон; а кто не знал его военного гения, кто не видел его несметных полчищ, его неистощимых средств. Эта безмолвная, тяжелая дума утопила весь наш стан в смертную тишину. Никто не спал. Солдаты заботливо

му пафосу больше похоже на аналогичный эпизод в тексте Ф. В. Булгарина[1].

Таким образом, среди прозаических текстов, презентующих события Отечественной войны, выделяются минимум два противопоставленных друг другу дискурса, один из которых маркирован образом пира. Как показывает В. А. Кошелев [2, с. 33], едва ли не основным компонентом «официального» мифа об Отечественной войне выступает мотив радости, который как раз и является непременным атрибутом бивуачного пиршества.

Генезис этого образа, как представляется, связан с поэтическим контекстом времени. Это наше предположение не возникает вдруг и из ниоткуда: уже общим местом в исследованиях, посвященных литературе первой трети XIX в., становится тезис о «поэтизации прозы» [8, с. 13], в первую очередь – на уровне стилистическом [9, с. 182]. Какой же поэтический контекст оказывается актуальным для формирования образа Отечественной войны 1812 г.?

Во-первых, это агитационная лирика времени военной кампании с Наполеоном, основным и наиболее репрезентативным источником которой служит «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году», изданное князем Н. М. Кугушевым [21]. Кроме того, в качестве дополнительного материала мы обращались к стихотворному разделу «Подарка русскому солдату» Ф. Н. Глинки (1818) и книге «Боевые и народные песни 1812–1815 гг.» (1877).

Во-вторых, нельзя обойти стороной и систему лирических жанров первой трети XIX в. с ее устойчивыми топосами

---

чистили ружья, точили штыки и, готовясь к смерти, надевали чистые рубашки» [4, с. 320].

[1] «Русские спали на земле родной, обагренной кровью сынов ее, попираемой дерзкими пришельцами, угрожавшими ей стыдом и рабством. Здесь хотели отомстить они врагам своим. Воины Наполеона думали, что стоят у цели всех надежд своих, что победою купят желанный мир, и что последним усилием кончат брань, которая истощила их твердость, хотя не погасила их мужества. Два исполина Европы, русские и французы, стояли друг против друга, с яростию в сердце, с надеждою на решительный конец кровавой борьбы. Ночь не принесла покоя утрудженным воинам: мысль и чувство каждого из них были заняты завтрашним днем. С любопытством и нетерпением взирали они на огни своих противников, и ждали утренней зари, как брачного светильника» [7, с. 103–104].

и поэтическими денотатами: как неоднократно отмечалось в литературе [см.: 22, с. 149–151; 8, с. 154–155; 23, с. 4], агитационные тексты напрямую восходят к уже готовой традиции, трансформированной в соответствии с социальным заказом времени.

Как показала апелляция к самому широкому контексту, образ бивуачного пира как один из составляющих элементов мифа о войне 1812 г. был сформирован благодаря двум движениям в рамках готовой поэтической системы, которое мы условно назовем движениями «сверху» и «снизу».

Первое движение, своеобразное движение «снизу» – это активное распространение в период военной кампании комических квазифольклорных патриотических песен, часто анонимных или быстро становящихся в полном смысле народными[1]. Такие песни выполняли свои агитационные задачи с большим успехом, чем многочисленные оды и близкие им по жанру тексты. Но этот своего рода литературный лубок и высокая ода, как ни парадоксально, по сути являются сторонами одной медали: «В «солдатской песне» сочетаются трудно совместимые начала: как и в оде, в ней на первом плане– война в ее политической ипостаси, но то, что в оде решается средствами высокой стилистики, в песне снижено до пародийности» [18, с. 30–31].

Движением же «сверху» является развитие анакреонтической лирики, одним из жанровых воплощений которой является застольная песня. Одним из компонентов ее мотивного ядра выступают в том числе горациановские мотивы дружеского пира и быстротечности жизни, смерти и бессмертия, тесно связанные друг с другом – все то, что мы найдем, например, в отдельных образцах дружеского послания (см. об этом [10]). Но, сохраняя определенную степень устойчивости, эта система в контексте другой жанровой парадигмы претерпевает определенные трансформации и изменение акцентов. Так, образ пира присутствует в исторической элегии К. Н. Батюшкова («На развалинах замка в

---

[1] См: «Станем братцы! Собираться, / Весело пришлось гулять; / Станем пить, не напиваться, / Милых нежно забавлять» [5, с. 31]; «Там-то мы расположимся, / В прах разбив богатыря, / И тогда повеселимся / За народ свой и Царя» [5, с. 43]; «Пей, вся Европа, за здравье солдата! / Русский – во имя добра – / Свергнул ея супостата! / Русским героям – ура!» [5, с. 60].

Швеции»)[1]; в «Стихах на изгнание неприятеля из России…» кн. Д. Горчакова[2], объединяющих элегическое и одическое начала, можно встретить образ пира кровавого.

Иную тенденцию иллюстрирует «гусарская поэзия» Д. В. Давыдова, которая за счет привнесения комического элемента больше напоминает описанные выше народные и псевдофольклорные бивуачные тексты. Именно эта особенность поэтики оказалась востребована эпохой и стала частью ее «репутации». Например, П. А. Вяземский почти сразу после войны создает ряд à la давыдовских стихотворений, посвященных Батюшкову, В. А. Жуковскому и самому поэту-партизану[3], и атрибуты «гусарщины» становятся материалом для дружеского послания – жанра, для которого военная тематика была чуждой или находилась на периферии. Но важнее то, что лирический герой Давыдова начинает свою самостоятельную внелитературную жизнь. «Попировать, подраться на саблях, побушевать где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время» [6, с. 135], – свидетельство невозможности определить, кто появился раньше – гусар литературный или реальный.

Но, безусловно, главным произведением 1812 го., в полной мере выполнившим социальный заказ и легшим в основу официальной мифологии, выступает «Певец во стане русских воинов»[4] Жуковского, практически моментально породив-

---

1 Там чаши радости стучали по столам,
Там храбрые кругом с друзьями ликовали,
Там скальды пели брань, и персты их летали
По пламенным струнам. <…>
Но всё покрыто здесь угрюмой ночи мглой,
Всё время в прах преобратило!
Где прежде скальд гремел на арфе золотой,
Там ветер свищет лишь уныло!
Где храбрый ликовал с дружиною своей,
Где жертвовал вином отцу и богу брани,
Там дремлют, притаясь, две трепетные лани
До утренних лучей [2, с. 173–174].

2 Презря жен, дщерей токи слез,
Имение, кровь на жертву нес,
Как к пиршеству, летел ко брани [21, с. 81].

3 Об этом см.: [8, с. 177].

4 Цитирует, кстати, «Певца…» и Загоскин в уже упоминаемом выше романе «Рославлев…», описывая героя, чей образ отсылает к фигу-

ший ряд подражаний (см. «Певец среди московских граждан» И. В. Попова или «Певец в кругу Россиян» Д. П. Глебова). Этот текст аккумулирует в себе целый ряд жанров – здесь можно увидеть черты баллады, элегии, кантаты. Но, как нам представляется, в основе «Певца...» лежат две традиции – анакреонтическая лирика, связь с которой маркирована образом круговой чаши и стиранием границ между миром живых и мертвых, и ода/героический гимн, тяга к максимальным обобщениям и абстракции в которых предельно расширяет интимный мир комнатной пирушки. А. С. Янушкевич [23, с. 14–15], отмечая ключевое значение этого агитационного текста, упоминает, что в 1813–1814 гг. отрывки или отдельные строки «Певца» печатались буквально в каждом номере «Русского вестника»[1] и «Сына Отечества»[2] в воспоминаниях о событиях войны или характеристике полководцев, упомянутых Жуковским – вполне реально предположить, что за 1813–1814 «Певец...» мог бы набить оскомину не только подполковнику Винградову.

Такое тиражирование текста, способствующее решению агитационных проблем, предопределило его неминуемую смерть как произведения литературного. Будучи оторванным от поэтического контекста, «Певец во стане....» утратил связь со своим жанровым денотатом, что и продемонстрировано в словах Винградова: не осознавая условности поэтического образа, *«пир горой»* воспринимается героем буквально.

Но в контексте этого дискурс «Осады» выглядит парадоксально: не понимая и не принимая абстрагированность по-

ре Давыдова: «...Рославлев заметил одного русского офицера, который, по-видимому, командовал всем отрядом <...> Рославлев узнал в нем своего знакомца, который в мирное время – певец любви, вина и славы – обворожал друзей своей любезностью и добродушием» [12, с. 524].

[1] Так, в № 5 за май 1813 мы найдем отдельные отрывки из «Певца...», сопровождаемые следующим примечанием издателя: «Выписка из стихотворения В. А. Жуковского, под названием: *Песнь во стане Русских воинов*. Желательно, чтобы все русские отцы и матери семейств, не французскими пустяками, но обогащали бы разум и память своих питомцев начертаниями славы и верности Русских» [13, с. 5].

[2] Например, в №11 за 1813 г. в разделе «Смесь» можно найти статью «Кончина Князя Багратиона Гангарта», сопровождаемую строфой из «Певца...», посвященной, соответственно, Багратиону [15].

хвальной оды или застольной песни, персонаж выстраивает свой рассказ о Бородинском сражении, опираясь на топику едва ли менее условного жанра лирики. Мы имеем в виду уже упомянутую выше историческую элегию, связь с которой эксплицирована в узнаваемой оппозиции/уподоблении плодородной мирной нивы и напитанного кровью поля битвы (см. «Бородинское поле» Давыдова[1], отдельные пассажи из «Воспоминаний в Царском Селе» Пушкина[2], или характерные описания в текстах Бестужева-Марлинского[3] и Нарежного[4]).

С чем может быть связана опора на одни поэтические традиции изображения событий войны 1812 . и демонстративное отвержение других? Не касаясь биографических фактов, в частности – неоднозначного отношения Бестужева к Жуковскому[5] (кроме того, Жуковского явно невозможно при-

---

1 Невольным пахарем влекут меня на нивы…
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях <…>
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга [11, с. 96].

2 Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,
Дымится кровию земля;
И села мирные, и грады в мгле пылают,
И небо заревом оделося вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг [19, с. 70–71].

3 «Земля уже испахана была колесами орудий и подковами коней, готовая, родимая, принять посев картеч и ядер, а потом упиться кровавым дождем, чтобы на весну взошла ужасная озимь – заразою» [4, с. 321].

4 «Вчера еще украшалась она нивами волнистыми, древами плодоносными! Какой ужасный вихрь исторг благословение полей и вертоградов, насеял землю растерзанными членами и одождил ее кровью близких?» [17, с. 115].

5 В качестве примера такого неоднозначного отношения можно привести эпизод из воспоминаний М. А. Бестужева о событиях 1824 г. Эпизод, который мы имеем в виду, посвящен сочинению дружественным кругом литераторов – Дельвига, Ф. Глинки, Гнедича, Грибоедова – эпиграммы на Жуковского: «Помню, как зашла речь о Жуковском и как многие жалели, что лавры на его челе начинают блекнуть в придворной атмосфере, как от сожаления, неприметно, перешли к шуткам на его счет. Ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой, то там то сям порывались стихи с оттенками эпиграммы или сарказма, и наконец брат Александр, при

числить к «неочевидцам» событий 1812 г.[1]), можно связать выбор того или иного дискурса с авторскими представлениями о поэтике разных прозаических жанров. В письме к А. М. Андрееву от 9 апреля 1831 г. обнаруживается следующее противопоставление: «...иное дело повесть, иное дело роман <...> краткость первой, не давая места развернуться описаниям, завязке и страстям, должна цепляться в память остротами. Если вы улыбаетесь, читая ее, я доволен, смеетесь – вдвое. В романе же можно без курбетов и прыжков...» [4, с. 496].

Видимо, в связи с такой установкой на «серьезность» жанра романа писатель дискредитирует потенциально комические элементы. Кроме того, выбор элегического дискурса может быть обусловлен проблемой точки зрения и позицией, занимаемой лирическим субъектом по отношению к поэтическому миру. В «Выстреле», еще одной дошедшей до нас главе и своеобразном творческом манифесте писателя, герои – журналист Андрей Петрович и старый полковник, ветеран Отечественной и турецко-русской войн – рассуждают о принципах презентации военных действий. Поводом

шуме возгласов и хохота, редижировал известную эпиграмму, приписанную впоследствии А. Пушкину:

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял лавровый свой венец.
С указкой втерся во дворец;
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
“Бедный певец!...”» [3, с. 51–51].

[1] См. вспоминания Андрея Раевского о заграничных походах: «Человек с дарованиями достоин уважения; но получает еще большее право на оное, если собственным примером научает добродетелям, которые прославляет в своих песнях. И действительно, может ли тронуть меня описание сражения какого-нибудь стихотворца-Профессора? Он должен подражать или творить против справедливости. С одинаковым ли чувством читаю я *Певца во стане русских воинов* и *Барда на гробе славян Победителей?* – очарованный согласною цевницею Барда, я не ощущаю того сладостного, невольного восторга, объемлющего душу мою, когда внимаю сладостный глас воина, который при треске падающих градов, при каменном зареве битв, пред станами разрушенной Столицы, за круговою чашею ликующих братьев, готовых к победе или смерти, живописует предстоящее взору и запечатленное в сердце. Чувства и истина суть первые достоинства писателей» [20, с. 29–30].

к разговору стала литография, изображающая «какое-то сражение русских с турками в 1829 году» [4, с. 329], которая разрывается полковником в клочья. Свой жест герой объясняет так: «…что за притязание представить чуть ли не целое поле? <…> безумно изображать целое сражение <…> Для меня изображение солдата, которого режут горцы, во сто крат занимательнее панорамы, на которой полки мух сражаются с полками блох» [4, с. 331, 333].

Как нам представляется, здесь эксплицировано то структурное ограничение, которого не лишены ни «Певец во стане…» Жуковского, ни любая ода или героическая песня. Мы имеет в виду жанровую «дальнозоркость», позицию «над схваткой», которой недоступны ни анализ, ни индивидуализация, ни вскрытие противоречий – все то, без чего, по мнению героев «Вадимова», невозможно изображение войны. Таким образом, отказ от одического дискурса в пользу элегического – поэтически условного, но не чуждого субъективности – можно считать первым шагом на пути к демифологизации войны.

### *Список литературы и источников*

1. РО ИРЛИ. Ф. 604. Ед. хр. 7.

2. *Батюшков К.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964.

3. *Бестужев М.* Из «Моих тюрем» // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 49–106.

4. *Бестужев-Марлинский А.* Кавказские повести. СПб., 1995. (сер. «Литературные памятники»).

5. Боевые и народные песни 1812–1815 гг. СПб., 1877.

6. *Булгарин Ф.* Воспоминания: Отрывки из виденного, слышенного и испытанного в жизни: В 6 ч. СПб., 1846. Ч. 2.

7. *Булгарин Ф.* Петр Иванович Выжигин, нравоописательный исторический роман XIX века: В 3 ч. СПб., 1831. Ч. 3.

8. *Вацуро В.* Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1995.

9. *Виноградов В.* Стиль прозы Лермонтова // Виноградов В. В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей от Карамзина до Гоголя. М., 1990. С. 182–270.

10. *Виролайнен М.* Две чаши: (Мотив пира в дружеском послании 1810-х годов) // Виролайнен М. Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003. С. 291–312.

11. *Давыдов Д.* Стихотворения. Л., 1984.

12. *Загоскин М.* Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 1.

13. Изображение русских полководцев // Русский вестник. 1813. № 5. С. 5–14.

14. *Канунова Ф.* Эстетика русской романтической повести. Томск, 1973.

15. Кончина Князя Багратиона Гангарта // Сын Отечества. 1813. Ч. 4. № 11. С. 227.

16. *Кошелев В.* «Орлы двенадцатого года»: Реалии и мифология // Реалии и легенды войны 1812 года. СПб.; Тверь, 2012. С. 29–46.

17. *Нарежный В.* Словенские вечера: В 2 ч. СПб, 1826. Ч. 2.

18. *Охотин Н.* 1812 год в поэзии и поэзия в 1812 году // Русская слава: Русские поэты об Отечественной войне 1812 года. М., 1987. С. 5–48.

19. *Пушкин А.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1.

20. *Раевский А.* Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов. М., 1822. Ч. 1.

21. Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году: В 2 ч. М., 1814. Ч. 1.

22. *Эйхенбаум Б.* От военной оды к «гусарской песне» // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л.: Советский писатель, Ленингр. отд-ние, 1969. С. 148–169.

23. *Янушкевич А.* Жанровый состав лирики отечественной войны 1812 года и «Певец во стане русских воинов» В. А. Жуковского // Проблемы метода и жанра. Томск, 1982. С. 3–23.